

Дики адьгского прошло



ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ выпуск 22 (134)

КАВКАЗ И РОССИЯ В ТРУДАХ ЯКОВА ГОРДИНА

Яков Аркадьевич Гордин (род. 23 декабря 1935 г., Ленинград) – видный российский историк, публицист, литератор, главный редактор журнала «Звезда» (с 1991 г. совместно с А.Ю. Арьевым). Я.А. Гордин родился в семье литературоведа Аркадия Моисеевича Гордина и писательницы Марианны Яковлевны Басиной. Прадед, учитель Антон Моисеевич Ивантер, был почетным гражданином Вильно. Дед, Моисей Гаврилович Гордин, был лесопромышленником и купцом первой гильдии в Пскове. Дядя, инженер Арнольд Моисеевич Гордин (1903 – 1975), был активистом левой оппозиции и политзаключенным. Другой дядя, Владимир Моисеевич Гордин (1906 – ?), также участник левой оппозиции, был арестован в 1933 г., впоследствии расстрелян. Брат Михаил Аркадьевич – литературовед, историк, специалист по творчеству И.А. Крылова, драматурга В.А. Озерова и др. (ряд книг написан в соавторстве с Я.А. Гординым). Яков Гордин женат на переводчице Наталии Рахмановой.

Из материалов, предваряющих интервью, данное Я.А. Гординым Геннадию Кацову 15 мая 2015 г.: «После школы служил в армии: курсант полковой школы отдельного стрелкового полка, порт Ванино, командир отделения саперномостостроителей в отдельном инженерно-саперном полку, Южное Забайкалье, Восточная Сибирь. После армии, с 1957 г. учился на филологическом факультете Ленинградского университета – два года на очном, два на заочном отделении. Ушел с четвертого курса, закончил курсы техников-геофизиков и пять лет (1959 – 1963 гг.) работал в геологических экспедициях НИИ Геологии Арктики (Северная Якутия, Верхоянский хребет). С середины 1960-х годов публиковал в периодике стихи (позже вышли две книги стихов), критические статьи и очерки в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы», «Звезда» и др. В 1967 году Ленинградский ТЮЗ поставил историческую трагикомедию «Вашу голову, император!». Впоследствии много работал для те-

атра: четыре спектакля в разных театрах.

Основным жанром с начала 1970-х годов является историческая публицистика с прочной документальной основой. Предмет изучения – русская политическая история XVIII – XIX вв. в ее кризисных моментах. До сего дня выпущено около двадцати книг».

См.: <http://www.runyweb.com/articles/culture/literature/yakov-gordin-interview-1.html>

Книги Я.А. Гордина о Кавказе:

Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2000. – 464 с.

Гордин Я. Зачем России нужен был Кавказ? Иллюзии и реальность. – СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», 2008. – 288 с.

Гордин Я. Герои поражения: исторические эссе, проза. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 480 с.

Гордин Я. Кавказская Атлантида. 300 лет войны. – М.: Время, 2011. – 480 с.

Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало XX вв. – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005. – 720 с. Руководитель проекта Я.А. Гордин. Составление Я.А. Гордин, В.В. Лапин, Г.Г. Лисицына, Б.П. Миловидов. Подготовка текстов и комментарии Б.П. Миловидов.

Кавказская война: истоки и начало. 1770 – 1820 годы. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. – 552 с. Руководитель проекта Я.А. Гордин. Составление Я.А. Гордин и Б.П. Миловидов. Подготовка текстов и комментарии Б.П. Миловидов.

Ольшевский М. Кавказ с 1841 по 1866 год. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. – 608 с. Руководитель проекта Я.А. Гордин. Вступительная статья и комментарии А.Н. Лукирского.

Россия и Кавказ – сквозь два столетия. Историческое чтение. СПб.: АОЗТ «Журнал «Звезда», 2001. – 416 с. Из-

К 80-летию со дня рождения мыслителя

дание составили и подготовили Г.Г. Лисицына и Я.А. Гордин.

Кавказ и Россия – прошлое и настоящее. История, обычаи, религия. Сб-к. – СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», 2006. – 272 с. Редактор Я.А. Гордин.

Россия и Кавказ. СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», «Довлатовский фонд», 2003. – 192 с. Руководитель проекта Я.А. Гордин.

Кавказские письма А.П. Ермолова М.С. Воронцову. Предисловие Я. Гордина. Комментарии, указатель Б.П. Миловидова. СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», 2011. – 376 с.

Генерал А.П. Ермолов и российско-кавказские отношения в XIX – начале XX века. Составители Я.А. Гордин, Г.Г. Лисицына. – СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда», 2009. – 128 с.



Яков Аркадьевич Гордин

ЧТО УВЛЕКЛО РОССИЮ НА КАВКАЗ?

Заметки об идеологии Кавказской войны

Отрывок из первой главы книги «Кавказ: земля и кровь»

В конце шестидесятых годов XIX века, когда Кавказская война была завершена, а грядущие мятежи горцев еще не начались, когда обществом и государством владела иллюзия полной решенности проблемы, автор знаменитой книги «Россия и Европа» Н.Я. Данилевский писал: «Возьмите для примера хоть поселения русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа стремится русский народ, предоставленный собственной воле? Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности». Данилевский, безусловно, был в этом вопросе лицом компетентным. Чиновник департамента сельского хозяйства, он изъездил вдоль и поперек всю Россию.

*Н.Я. Данилевский. *Россия и Европа*. СПб., 1895, с. 52.

Ту же мысль, но уже на собственно исторической основе, сформулировал и уточнил первый историк-исследователь в точном смысле слова – в отличие от историков-

Император Николай <...> неизменно соблюдает правило вести одновременно лишь одну войну, не считая войны Кавказской, завещанной ему и которую он не может ни прервать, ни прекратить...

Лушин

летописцев Кавказской войны Н.Ф. Дубровина, В.А. Потто, А. Зиссермана – М.Н. Покровский. В начале XX века он писал в работе «Завоевание Кавказа»: «Война с горцами – Кавказская война в тесном смысле – непосредственно вытекала из этих персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего менее колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы».

* М.Н. Покровский. *Дипломатия и войны царской России в XIX столетии*. Сб. статей. Лондон, 1991, с. 179

Данилевский, пожалуй, в силу своего жизненного опыта и знания крестьянской России, глубже взглянул на проблему. Колонизационные мечты у правительства российского были, но вот насколько

ко естественна была эта колонизация – в отличие от совершенно естественной колонизации Сибири – вопрос другой.

В феврале 1792 года в ответ на предложение командующего Кавказской линией генерала Гудовича переселить на земли близ Терека десять тысяч государственных крестьян Екатерина отвечала: «Касательно переселения государственных крестьян малоземельных изнутри России рассуждаем, что когда строением крепостей по линии земли сии закрыты будут и хлебопашцам доставится безопасность и спокойствие, тогда сами собою, без убытков казне, и помещики, и государственные крестьяне мало-помалу станут переносить жительства свои в сию привольную страну и вскоре, выходя из малоземельных наместничеств, заселят оную к пользе и выго-

дам собственным и государственным»*. Никто не думал в 1792 году, что мир и спокойствие в этих местах – и то относительные – установятся через столетие...

* *Кавказский сборник. Тифлис, 1897, т. XVIII, с. 468.*

Надо отдать должное М.Н. Покровскому – он отметил чрезвычайно важную черту кавказской драмы. Неколониционный смысл завоевания Кавказа, принципиально отличающий эту акцию от всех других экспансий Московской Руси и России, делает анализ ситуации особенно сложным.

Завоевание Казанского, Астраханского и Крымского ханств с прилегающими территориями имело многообразное значение. Во-первых, происходило устранение военно-стратегической опасности, ликвидация плацдармов, с которых совершались или могли в любой момент совершаться вторжения на собственно российскую территорию. Во-вторых, эти войны имели ясный оттенок реванша за причиненные некогда Ордой страдания и унижения, что создавало благоприятный психологический климат в русских войсках. И, в-третьих, в состав государства включались весьма соблазнительные для колонизации земли.

Основная территория Северо-Восточного Кавказа, где и разворачивались решающие события российско-кавказской драмы, особенно Дагестан, – вовсе не прельщала переселенцев из России. Даже если бы она вдруг оказалась свободна от коренного населения. Это – не Крым и не Поволжье.

К Кавказу XVIII – начала XIX века неприменим знаменитый тезис Ключевского о колонизации как одном из главных факторов русской истории. Описывая колонизационный процесс, Ключевский в первом томе своего «Курса русской истории» упоминает и Кавказ, но, в отличие от других названных им районов – Туркестана, Сибири, не приводит никаких конкретных цифр. И не случайно. Дилетант Данилевский был прав, когда оговорился относительно переселения по «своей собственной воле». Основная масса переселенцев в Предкавказье – в том числе и казаков – была помещена туда директивным путем – для закрепления и охранения территории.

Ответы на вопросы – в чем истинный смысл завоевания Кавказа? чем оправданы колоссальные жертвы, приносимые страной ради этого завоевания? есть ли иные пути решения кровавого кризиса? – были столь туманны и противоречивы, что длительное время официальные публицисты и государственные мужи не рисковали даже их ставить.

Как всегда бывает в подобных случаях, проблемой занялись аутсайдеры. Причем, главным образом, это были люди, по тем или иным причинам не имеющие возможности прямо влиять на события.

Пожалуй, впервые ясно и недвусмысленно наиболее ра-

дикальное решение очертил Пестель в подпольной «Русской правде».

В первой главе своей конституции – «О земельном пространстве государства» – радикальный революционер-государственник, говоря о землях, которые необходимо присоединить к России «для твердого установления Государственной безопасности», утверждал: «Касательно Кавказских земель потому что опыта, сделанные для превращения горских народов в мирные и спокойные соседи, ясно и неоспоримо уже доказали невозможность достигнуть сию цель. Сии народы не пропускают ни малейшего случая для нанесения России всевозможного вреда, и одно только средство для их усмирения, чтобы совершенно их покорить; покуда же не будет сие в полной мере исполнено, нельзя ожидать ни тишины, ни безопасности, и будет в тех странах вечная существовать война. Насчет же приморской части, Турции принадлежащей, надлежит в особенности заметить, что никакой нет возможности усмирить хищные горские народы кавказские, пока будут они иметь средство через Анапу и всю вообще приморскую часть, Порте принадлежащую, получать от турок военные припасы и все средства к беспрестанной войне»*.

Павел Пестель. «Русская правда». М., 1993, с. 115.

Во второй главе – «О племенах России населяющих» – Пестель решительно развил свои соображения: «Кавказские народы весьма большое количество отдельных владений составляют. Они разные веры исповедуют, на разных языках говорят, многообразные обычаи и образ управления имеют и в одной только склонности к буйству и грабительству между собой сходными оказываются. Беспрестанные междуусобия еще больше ожесточают свирепый и хищный их нрав и прекращаются только тогда, когда общая страсть к набегам их на время соединяет для усиленного на русских нападения. Образ их жизни, проводимой в ежечасных военных действиях, одарил сии народы примечательной отважностью и отличной предприимчивостью; но самый сей образ жизни есть причиной, что сии народы столь же бедны, сколь и мало просвещены. (Обратим внимание на этот момент! – Я. Г.) Земля, в которой они обитают издревле, известна за край благословенный, где все произведения природы с избытком труды человеческие награждать бы могли и который некогда в полном изобилии процветал, ныне же находится в запустелом состоянии и никому никакой пользы не приносит, оттого что народы полудикие владеют сей прекрасной страной. Положение сего края сопределного Персии и Малой Азии могло бы доставить России самые замечательнейшие способы к установлению деятельнейших и выгоднейших торговых сношений с Южной Азией и следовательно к обо-



гащению государства. Все же сие теряется совершенно оттого, что кавказские народы суть столь же опасные и беспокорные соседи, сколь ненадежные и бесполезные союзники. Принимая к тому в соображение, что все опыты доказали уже неоспоримым образом невозможность склонить сии народы к спокойствию средствами кроткими и дружелюбными, разрешается Временное Верховное Правление:

1) Решительно покорить все народы живущие и все земли лежащие к северу от границы, имеющей быть протянутой между Россией и Персией, а равно и Турцией; в том числе и приморскую часть, ныне Турции принадлежащую.

2) Разделить все сии Кавказские народы на два разряда: мирные и буйные. Первых оставить в их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям, и

3) Завести в Кавказской земле русские селения и сим русским перераздать все земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних (то есть теперешних) его обитателей и обратит сей край в спокойную и благоустроенную область русскую»*.

* *Павел Пестель. «Русская правда», с. 167.*

Жестокий радикализм Пестеля, поражающий при чтении этих страниц, вовсе не уникален. Достаточно вспомнить взаимоотношения Англии и Ирландии сразу после Английской революции и беспредельную жестокость Кромвеля, буквально утопившего Ирландию в крови. Причем и государственнический пафос, и основная аргументация Кромвеля и вообще идеологов колонизации Ирландии чрезвычайно близки к пафосу и аргументации Пестеля.

Нужно помнить, что Пестель писал это в 1824 году, когда активный период Кавказской войны длился около четверти века и действительно были испробованы различные способы замирения горских обществ. В 1824 году ситуация на Северо-Восточном Кавказе была сравнительно спокойной, но пронзительный ум Пестеля точно оценил это спокойствие. В 1825 году восстала вся Чечня и была подавлена Ермоловым. Но Кавказ

уже стоял на пороге мюридизма.

«Русская правда» – документ, дающий обширное поле для размышлений. Пестелевская железная конституция продолжает суровую традицию утопических проектов, восходящих к «Государству» Платона, проектов, оперирующих логическими императивами и абсолютно игнорирующих как человеческую природу, так и права отдельной личности.

Но в подходе Пестеля к кавказской проблеме есть одно печальное достоинство – он совершенно трезв. Холодный логик Пестель выбирал наиболее прямой, не отягощенный никакими побочными, – прежде всего нравственными, – соображениями путь к цели. Так было с идеей поголовного уничтожения императорской фамилии. Так было с идеей «окончательного решения» кавказской проблемы.

Пестель представил без обиняков чисто имперскую государственническую точку зрения. И обосновал ее системой аргументов: 1. Необходимость защититься от набегов. 2. Необходимость нейтрализовать постоянный очаг нестабильности на южной границе. 3. Необходимость обеспечить безопасность азиатской торговли России (здесь явно маячит тень Петра I с его каспийско-индийским проектом). 4. Необходимость рационально использовать природные условия, которыми не умеют пользоваться «полудикие народы» Кавказа.

Последний пункт очень характерен; оправдание безжалостного отношения к горцам – уверенность в их хозяйственной и гражданской неполноценности (точка зрения, вполне совпадающая с ермоловской). И с этой точки зрения они совершенно незаконно занимали земли, которые могли быть использованы с пользой для государства.

Это вовсе не противоречит

тезису Покровского о неколониционном смысле завоевания Кавказа. Собственно кавказские земли не были столь обширны, чтобы приобретение их стоило таких колоссальных жертв и затрат. Главный смысл ликвидации – горских племен как военно-политического фактора. (Ермолов за несколько лет до Пестеля писал о развращающем примере горской свободы на Россию.) Для Пестеля в его расчисленном и жестко организованном государстве принципиально недопустимо само существование фактически в пределах империи – после присоединения Грузии – вечно кипящего кавказского котла, где население живет по собственным нерациональным правилам, чуждым пестелевской утопии.

Думаю, что Пестеля безумно раздражала романтизация Кавказской войны, игравшая не последнюю роль в психологической атмосфере завоевания.

Такова была «оправдательная доктрина» Пестеля. Для него над тактической прагматикой высоко возвышалась генеральная идея ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ. И здесь непримиримый враг самодержавия оказался самым последовательным учеником Петра. Но даже современное ему самодержавное государство не могло позволить себе ни подобных действий, ни подобных деклараций. Пестель же беспрепятно записывает план уничтожения – тем или иным способом – целых народов в документ, который он собирался предъявить всему миру.

Хотя политика николаевского правительства на Кавказе большую часть царствования и была в основных чертах попыткой реализовать идеи Пестеля, но попыткой компромиссной, непоследовательной, половинчатой. Отсюда следовали и вполне плачевные результаты.

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК И КАВКАЗ

Отрывок из второй главы книги «Зачем России нужен был Кавказ»

Само движение России на Кавказ имеет значительно более глубокие причины, чем военно-стратегические, геополитические и экономические. В данном случае речь пойдет о культурно-психологическом аспекте, игравшем огромную роль в российско-кавказской драме.

Кавказ как культурно-психологический феномен возник в сознании русского просвещенного дворянства в момент, казалось бы, для этого совершенно неподходящий, – в середине 1810-х годов, после военного триумфа, когда русский дворянин имел все основания для гармоничного самоощущения и удовлетворения своей исторической ролью. Однако именно в этот период дворянский авангард входит в полосу тяжелого психологического кризиса. Чрезвычайно чуткий к фундаментальным тенденциям эпохи Петр Андреевич Вяземский писал

Александру Ивановичу Тургеневу сразу после взятия русскими войсками Парижа, т.е. в 1814 году: «От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней. Счастливы те, кто жили теперь!»

Предпосылки для кризиса появились раньше. Тут надо вспомнить тяжкое разочарование, которое обрушилось на просвещенную часть русского общества в конце XVIII века – отчаяние от катастрофических результатов «века Просвещения». Молодое русское дворянство ощутило усталость от культуры этого века. Нужны были не только новые идеи, но и новые сферы приложения сил. С 1805 года такую возможность русское дворянство получило благодаря Наполеону. Войны 1805, 1807, 1812 – 1814 годов дали возможность выплеснуться не только физической, но в неменьшей степени духовной энер-

гии. Русский дворянин в этой титанической борьбе решал задачи мирового масштаба. И понимал это.

Кризисное сознание зародилось в пост-петровскую эпоху, когда произошел разрыв между самовосприятием человека, формирующегося в период крупных исторических сдвигов, и его реальным положением вытесненного из сферы крупного исторического действия. Кризисное сознание, наряду с политико-экономическими факторами, объясняет стремительную деградацию русского дворянства в XIX веке, ужасавшую Пушкина. Просвещенный дворянин, осознавший свои возможности и почувствовавший себя человеком историческим, оказался — по контрасту с минувшими годами противоборства с великим Наполеоном, в «мертвой зоне». «Цепь вялых и холодных дней...» Дело было не в отсутствии поля деятельности, но в масштабах деяний.

Именно психологическим дискомфортом, вызванным резким изменением масштабов, не в последнюю очередь объясняется всплеск разнообразной активности дворянского авангарда, имеющей оппозиционную окраску. В том числе деятельности, имеющей утопический характер, — «Союз русских рыцарей» Дмитриева-Мамонова и Михаила Орлова, затем стремительный рост масонских лож и порыв к мистическому опыту, а параллельно и тайные общества.

В этой ситуации и определилась особая роль Кавказа. Достаточно вспомнить паническое настроение в 1816 году Ермолова, которому прочили командование гренадерским корпусом — далеко не последний по значимости пост в русской армии. Но Ермолов упорно интриговал, стремясь получить назначение на Кавказ. «В Европе нам не дадут ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам». Ермолов с ужасом чувствовал близость «мертвой зоны», того, что в наше время назвали «застоем».

Александровская эпоха после наполеоновских войн представляется нам временем, полным движения. Но Пушкин писал в стансах «Друзьям», оправдывая свое сближение с Николаем: «Россию вдруг он оживил Войной, надеждами, трудами». «Оживил...»

Для активного дворянства стремление на Кавказ — надежда на изживание кризиса, внутреннего дискомфорта, динамизация застывающего психологического пространства.

Позже Константин Леонтьев писал об омертвелости метрополии и животворной роли окраин — Кавказа, в первую очередь, — благотворны как психологические пространства, в которых сохраняется традиция, противостоящая разрушительному либерализму и европейской уравнительности, и потому их надо сохранять в первозданном виде, то для другого мыслителя и практического деятеля того же времени — генерала Ростислава

Фадеева Кавказ — средоточие враждебной для России энергии, враждебной всему христианскому миру энергии вытесняемого из истории мусульманства, энергии, которую необходимо подавить.

Два незаурядных мыслителя выразили две взаимоисключающие тенденции русского общественного сознания последнего периода Кавказской войны, эпохи резкого оживления политического прожектерства.

И эта взаимоисключаемость двух сильных тенденций свидетельствует о парадоксальном состоянии общественного сознания, возбужденного внезапно открывшейся после смерти Николая I и снятия запрета на информацию с Кавказа картиной загадочного края и необходимостью определить к нему свое отношение.

Этому предшествовал длительный и многообразный процесс возникновения уникального явления, которое можно определить как «кавказскую утопию». Она складывалась из чрезвычайно разнородных элементов. В отличие от XVIII века самоформирование дворянства в постнаполеоновскую эпоху было завершено, а власть не могла и не хотела поставить перед дворянским авангардом задачи, достойной его самопредставления. Произошел окончательный и болезненный разрыв между самопредставлением и реальной ролью. Экспансия оказалась наиболее простым и доступным приложением сил. Однако экспансия на Кавказ несла в себе мощный экзистенциальный смысл.

Мир Кавказа отнюдь не был идеален, но для реализации принципа психологической компенсации этого и не требовалось. Символом Кавказа для русского человека были горы — тип ландшафта, резко контрастировавший с российской плоскостью, антитеза Великой русской равнине. Если мы вспомним «дорожную лирику» русских поэтов, то окажется, что доминирующий элемент пейзажа — степь, равнина, подавляющая своим однообразием. Разумеется, среднерусский ландшафт гораздо разнообразнее, но нам важна именно доминанта восприятия. Горы очаровывали русского дворянина при первом своем появлении на горизонте. Горы сами по себе были вызовом жизненной тривиальности. Это был мятеж природы против унылой упорядоченности. Горы — пространственная вертикаль — приобретали смысл, далеко выходящий за пределы топографии. Радикальная смена рельефа была не главной, но достаточно важной составляющей взаимоотношений русского человека и Кавказа. Из характера горного пейзажа вырастала философская концепция края. Война в горах, однако, переключала восприятие горного ландшафта в иной, так сказать, регистр.

Полковник Константин Бенкендорф, человек того типа, который интересует нас прежде всего, писал о впечатлениях похода в Дагестан:

«Воздух на больших высотах отличается необыкновенной прозрачностью, с глаз как бы спадает какая-то завеса, и поле зрения увеличивается почти вдвое. С полным удобством мы как бы парили над этим нагромождением скал, над этими чудовищными трещинами и пропастями, которые сходятся, сплетаются, но нигде не прерываются, составляя в общем страну гор, именуемую Дагестаном. Мы не встречаем здесь ничего, подобного строению известных нам горных стран, где соединение горных цепей, возвышение и опускание хребтов следует известной системе. Здесь — целый мир обломков и развалин, здесь все перемешано, все разбито, все в беспорядке; точно чудовищные волны океана как бы внезапно застыли и окаменели в бурю; это полное изображение первобытного хаоса. Восхищаешься потрясающей красотой величественного и внушительного зрелища, но вместе с тем испытываешь чувство ужаса, как бы очутившись перед вратами ада. Отсюда понятно отвращение, внушаемое нашим бедным солдатам грозной природой Дагестана, и та захватывающая тоска по родине, от которой они гибнут, вспоминая широкое раздолье этой родины, ее зеленые, слегка волнистые равнины, богатые и цветущие, веселые субботные хоры песни и хороводы и церковные воскресные службы. Сколько раз замечал я, как наши солдаты вздыхали о прелестях Чечни, между тем как там их отовсюду подстреливают, и каждый переход по лесу стоит чьей-нибудь жизни. Но там, по крайней мере, есть трава, есть лес, которые все-таки напоминают родину, а в Дагестане одни скалы да камни, камни да скалы. «Когда бы только избавиться от этих проклятых гор». Нельзя не повторить с Ермоловым его энергичного чисто русского выражения, вырвавшегося у него, когда он с вершины Карая, как и теперь мы, в первый раз увидел у своих ног этот огромный лабиринт пропастей, громадных гор, расколотых и перевернутых, образующих это море камней и скал Дагестана».

Тонкий и образованный Бенкендорф в этом романтическом пассаже очень точно — хотя и не впрямую — очертил психологический парадокс, игравший немалую роль в духовном бытии русского человека на Кавказе: восторг перед грандиозным величием горного пейзажа, смешанный с ужасом почти мистическим. Дело, разумеется, было не только в тех трудностях, которые создавали особенности рельефа в чисто военном плане. Кавказские войска постепенно выработали рациональную тактику ведения боевых действий в горных условиях. Дело было в ощущении экзистенциальной чуждости этого пространства, воспринимаемого как пространство inferнальное, находящееся по другую сторону человеческой жизни, пространство смерти. <...>

Любопытно, что для русских

дворян, воевавших на Кавказе во второй половине XVIII века, Кавказ представлялся вполне заурядным театром военных действий, затрудненных, правда, усложненным рельефом. Никакой особенности Кавказа как пространства, несущего новую культурно-психологическую нагрузку, мы не обнаружим в офицерских и генеральских воспоминаниях того периода.

Первые признаки иного подхода к войне на Кавказе как образу жизни появляются в начале XIX века. Собственно, с достаточной уверенностью мы можем привести один, но знаменательный пример. Это пример молодого гвардейца Михаила Семеновича Воронцова, заложившего позже в 1840 — 1850-х годах основы покорения края. С него начинается кавказский миф, радикально изменивший судьбы многих незаурядных людей. Миф о Кавказе как сфере высокой самореализации.

Рафинированный аристократ граф Михаил Воронцов, воспитанный в Англии, где его отец был послом, вернувшись в Россию, пренебрег открывавшейся перед ним карьерой и, несмотря на возражения отца, отправился в 1803 году на Кавказ к генералу князю Цицианову, тогда уже обретавшему черты легендарной фигуры. Это было, как писал в эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин:

*Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских
барабанов,
И в сече с дерзостным
челом
Явился пылкий Цицианов.*

Воронцов в Петербурге принадлежал к кружку гвардейских интеллектуалов, европейский культурный климат ему был внятнее не только по заморскому воспитанию, и его стремление именно на Кавказ определялось отнюдь не только желанием приобрести боевой опыт и уж наверняка не карьерными соображениями. Карьера у него и так шла вполне успешно.

Молодой Воронцов не был прекраснородным мечтателем и не склонен был романтизировать сами военные действия. Он побывал в тяжелейших экспедициях против лезгин, чудом спасся при разгроме горцами отряда генерала Гулякова, участвовал в изнурительной и кровавой осаде Эривани. <...>

За два года службы у «пылкого Цицианова», затевавшего самые рискованные операции и, в конце концов, по причине своего бесстрашия и погибшего, Воронцов мог вполне насытиться боевыми впечатлениями, если бы дело было только в них. Но в июне следующего года, уже из Петербурга, он писал тому же Арсеньеву, находившемуся на острове Корфу в составе экспедиционного русского отряда: «Ты справедливо заключил, что мне хотелось остаться при князе Цицианове. Я тебя уверяю, что ежели б не получал я писем от батюшки, в коих он непременно требовал моего возвращения, то и

теперь бы я был в Грузии. Я так был во всем счастлив в том краю, что всегда буду помнить об оном с крайним удовольствием и охотно опять поеду, когда случай и обстоятельства позволят».

Отчего европеец Воронцов, тонкий и образованный аристократ, ценитель итальянской оперы и сам музыкант, а не кровожадный рубака, был так счастлив, участвуя в жестокой резне с лезгинами, командуя полуживыми от голода солдатами в Эриванском походе, отбиваясь из последних сил от персов в горячей степи? Трудно сказать, насколько в начале XIX века было уже идеологически осознано особое обаяние Кавказа как культурно-психологического явления. Но оно уже зарождалось, чтобы в ермоловскую эпоху стать существенным фактором в самосознании просвещенного русского дворянина, человека с идеями. Для того, чтобы в ситуации тяжелого психологического кризиса единичные случаи стали мощной тенденцией, нужен был идеологический толчок. Сразу после окончания наполеоновских войн он и произошел.

Кавказ как культурно-психологический феномен, как выход из дискомфорта, как возможность психологической компенсации был открыт для ищущего русского дворянина романтизмом.

Романтизм — культурное явление великой сложности и многообразия, но в данном случае важна его неременная составляющая — вера в существование иного мира, кроме обыденного, мира не обязательно идеального, но предоставляющего иные возможности, иную степень свободы, иное качество свободы.

Решительное наступление на Кавказ в ермоловский период, совпавший по времени с экспансией в Россию байронической идеологии, имело для русского дворянина совершенно особый смысл — отличный от смысла освоения Сибири, а позднее — Средней Азии. Ни предкрымская степь, аналогичная степям Южной России, ни благодатные крымские берега с их уютными игрушечными горами не могли вызвать психологического потрясения, в них не было иного качества, их легко было осознать, к ним легко было привыкнуть. Быстро покорившееся крымское население, сразу же обезоруженное, не являло для привыкшего к российской политике этничности русского человека никакой загадки. <...>

Освоение новых пространств русским народом проходило без психологического напряжения, без ломки миропредставлений, без воздействия на духовный мир, на общественное сознание, без формирования нового человеческого типа. Пока Россия не подошла вплотную к Кавказу. Тут все изменилось. <...>

Когда романтическая идеология байронического толка широко проникла в сознание русских дворян, их особое внимание к Кавказу стало неизбежным. Кавказ с его

гордым, вольным, буйным населением, с его природой, принципиально отличной от классической среднерусской, и был той иной сферой, иным миром, который сулил психологический выход из бытового тупика.

Для активной части дворянства, для которой романтическая идеология была не пустым звуком, Кавказ как вариант иного мира, в котором раскрывалось иное качество пространства – горы, который был населен иными людьми – свободными от европейских условностей, был воплощением принципа, который можно определить как принцип психологической компенсации. Неудовлетворенному дворянскому сознанию Кавказ не просто как географическое и этнографическое, но и как метафизическое явление давал возможность ощутить бытийную полноту. Этот иной мир был, он был достижим – и это уже было чрезвычайно важно.

Именно на основе восприятия Кавказа как иного мира возникло явление, сыгравшее немалую роль в русском общественном и культурном сознании, но малоизученное и малооцененное – кавказская утопия.

Утопия складывалась постепенно. Стимулом к ее возникновению была, как уже говорилось, глубокая неудовлетворенность реальностью и отчасти романтическая идеология. Она складывалась из историко-культурного мифа и представления о Кавказе как о принципиально другом мире.

В «Рубке леса» у Толстого бывший гвардеец Болхов, богатый, благополучный внешне человек, добровольно приехавший служить на Кавказ, на вопрос рассказчика – зачем он приехал на Кавказ, говорит: «По преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей... Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками – все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого...»

Здесь и в самом деле таится какая-то загадка, и Толстой, проживший несколько лет на Кавказе, воевавший, бывавший в горах, пытался ее разрешить. С одной стороны, он понимал и несостоятельность «предания». В черновиках «Казаков» есть такой текст:

«Странное существует в России мнение о действии, производимом жизнью на Кавказе на состояние, характер, нравственность, страсти и счастье людей. Проматавшийся юноша, несчастный игрок, отчаянный любовник, неудавшийся умник, избалованный трус или мошенник, оскорбленный честолюбец, горький бездомник, бобыль: все едут на Кавказ... По принятому мнению, это очень естественно. Я же до сих пор сколько ни напугал свои умственные способности, – не мог еще объяс-

нить себе, почему они едут именно на Кавказ, а не в Вологодскую или Могилевскую, или Нижегородскую губернию. Несчастный игрок на Кавказе больше, чем где-либо, будет несчастным, ежели только не гадким. Неудавшийся умник найдет много предшественников на Кавказе и скорее, чем где-нибудь, будет понят. Трус останется трусом, сколько бы раз он ни ходил в походы и не подвергал без цели жизнь свою опасности. Честолюбец, тоже едва ли найдет то, что ожидает, так как на Кавказе еще меньше, чем везде, успех зависит от достоинства и усердия. Остаются один отчаянный любовник, который в кровавом бою хочет сложить свою голову и тем самым, по какому-то странному умозаключению, отместить неприступной, коварной или жестокой; но и то мне кажется, что уж ежели он непременно намерен лишить себя жизни, то можно бы было сделать это удобнее, вернее и скорее – дома».

Толстой так не думает, но он предполагает, так сказать, рациональную антитезу кавказскому мифу, кавказской утопии. Сам же он писал в письме своей тетушке графине Александре Толстой, с которой был очень откровенен: «Пришло время, что жизнь начала терять свой смысл. Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в то время, продолжавшееся 2 года». И в это вполне можно поверить. Вскоре после отъезда с Кавказа 5 марта 1855 года он записал: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

У философа Кьеркегора есть замечательное выражение – «Головокружение свободы». Речь идет не о свободе политической, так сказать, низшей свободе, но о свободе духа, свободе экзистенциальной, определяющей не бытовую, но высокую судьбу человека.

Вот это выражение – «Головокружение свободы» – в высшей степени применимо к грандиозным замыслам Толстого на Кавказе. И в известной степени к состоянию тех, кто был увлечен кавказской утопией.

Одним из основополагающих источников не прагматического знания, но восприятия Кавказа как некоего надбытового яв-

ления, была поэма Пушкина «Кавказский пленник». На нее ссылаются многие из адептов кавказской утопии. Там сказано о герое:

Отступник света, друг

*природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком*

*свободы.
Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном*

*мире...
Итак, герой Пушкина, русский дворянин, очевидно, офицер, полетел на Кавказ за свободой.*

Что же это была за свобода? О горской свободе писали и до Пушкина. Жуковский в 1814 году в стихотворении, посвященном отчасти Кавказу, писал о горцах:

*Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь – соратник*

*быстроногий –
Их и сокровища и боги;
Как серны, скачут по горам,
Бросают смерть из-за*

*утеса;
Или, по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут.
Скалы свободы их приют.*

Это та самая «дикая свобода», о которой много писали и говорили, свобода насилия, разбоя, неподчиненности. Но вряд ли герой Пушкина стремился на Кавказ за такой свободой. <...>

У известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова в одной из статей есть определение свободы: «Свобода! Кому не дорого это слово! Не желание ли свободы движет сердцами всех честных людей?.. Свобода есть понятие совершенно духовное и зиждется на нравственном уважении к человеческой личности и признанием за ней нравственных прав на независимость духовную».

Вот эта формула, на мой взгляд, и была – часто подлинно – сутью кавказской утопии в ее нравственном аспекте – право на независимость духовную.

Элементы политической «вольности», разумеется, на Кавказе в определенные периоды были. Но, если вернуться к Пушкину, то маловероятно, что его герой ждал там полной внешней независимости: все, кто отправлялся на Кавказ, – служили, были включены в достаточно жесткую систему.

Речь шла о внутреннем самоощущении, которое давал принципиально иной мир, которое давало соприкосновение с носителями особой свободы – отнюдь не только хищной, которой обладали горцы, – свободы абсолютного самоуважения, осознания своей внутренней независимости, которая органично сливалась с независимостью внешней. Свобода как независимость. Разумеется, мы говорим все же именно об утопии. В горском мире тоже все было и в этом смысле не так идилично. Но речь идет о восприятии этого мира русскими дворянами. О солдатах разговор особый.

Почему именно Кавказ давал возможность этой внутренней независимости или, по

крайней мере, иллюзию независимости?

Если продолжить цитату из «Рубки леса», то Толстой там говорит очень важную вещь. В ответ на скептический пассаж капитана Болхова он отвечает: «Да, мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Когда читаешь стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?» То есть Кавказ для русского человека – другая знаковая система, внутри которой отпадают многие привычные критерии. <...>

Можно предположить, что кавказская утопия была запоздалой реакцией на петровскую закованность человеческой личности, индивидуальной воли по квазиевропейскому образцу, когда на смену относительной самостоятельности в частной жизни дворянина пришла «регулярность», жесткое включение в систему. Дело было, как уже говорилось, не в политической свободе, но в принципиально ином способе существования. В горах были, разумеется, ограничения человеческому самовольству, но они оставляли свободной индивидуальную независимость. В этом отношении Кавказ был противовесом русской жизни.

Отсюда его обаяние для неудовлетворенного русского дворянина. Кавказ как мир предельных состояний – в природе, в силе человеческих страстей, в постоянной близости опасности и смерти, был антиподом российской скованности. Духовная размахистость русского человека была искусственно скована сконструированными сдержками. Горец же ограничен в своей свободе и ограничен естественно сложившимися обычаями. Горец – непрерывная естественная традиция, дающая прочную психологическую опору. Русский дворянин – жертва прерванной традиции, испытывающий дискомфорт от неорганичности системы, в которую он включен. Горец живет непререкаемым преданием, русский дворянин – писанной историей, которую легко поставить под сомнение. <...>

Восприятие русским дворянином кавказского мира приводило к возникновению противоречивой, многосмысленной, парадоксальной картины, в основе которой лежала идея завоевания как императива, и в то же время пересекающаяся с ней сомнение в правомочности этого завоевания. Вспомним запись в дневнике Толстого: «Все утро мечтал о покорении Кавказа». В то же время в автобиографических «Казаках» герой мечтает, подвезжая к Кавказу: «То с необычайной храбростью и удивляюще всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость».

<...> Одним из глубоко осмысленных парадоксов русского мира Кавказа было отношение русских офицеров к вне-

шним атрибутам, присущим горцам. Горский костюм, который, очевидно, с ермоловских времен стали носить русские офицеры (со временем некоторые части Кавказского корпуса получили горскую одежду как официальный военный костюм), изначально имел куда более серьезное значение, чем просто удобная боевая одежда. Одежда Кавказского корпуса с тех же ермоловских времен была не менее удобной. И тем не менее... Мы располагаем массой свидетельств о том, какую роль играл горский костюм в самоощущении русского офицера.

Лермонтов писал в том же очерке: «Он (русский офицер – Я.Г.) легонько маракует потатарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал – старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый Шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и шит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия». Аристократ Печорин одевался так, что казаки принимали его за кабардинца.

<...> Ношение горского костюма русскими офицерами было явлением знаковым. Оно означало стремление влиться в исконный мир Кавказа, отделиться таким образом от русского мира (при этом не теряя чувства имперского патриотизма).

Это стремление могло возникнуть и проводиться с такой настойчивостью только в том случае, если мир Кавказа воспринимался как нечто более значительное, чем русский мир. И, стало быть, горец, которого копировали русские офицеры, воспринимался как личность с более высоким экзистенциальным статусом. Горец воспринимался как носитель свободы, русскому человеку недоступной.

Любовь славянофилов к русскому платью – допетровской эпохи: платье это они носили как вызов, как символ отрицания европеизма. Это было осознанное оппозиционное действие, но достаточно поверхностное и искусственное. Славянофилы не пытались, да и не могли вжиться в мировосприятие допетровского русского человека. Черкесское платье русского «кавказца» было, по сути дела, таким же вызовом, но скорее подосознательным и потому более глубоким. Русский офицер органично воспринимал мир Кавказа как свой мир. <...>

Роль феномена Кавказа в русском общественном и культурном сознании XIX века была значительно выше, чем мы это себе представляем. И это делало для русского офицера органичной идею включения кавказского мира в общероссийский мир как исторически и культурно необходимый фрагмент империи, а не просто как колонизированное пространство.